

Александр ПЯТИГОРСКИЙ

КРАТКИЕ ЗАМЕТКИ О ФИЛОСОФСКОМ В ЕГО ОТНОШЕНИИ К ФИЛОЛОГИЧЕСКОМУ

1. Сейчас философу самое время подумать о филологии. Если философия первой половины века в основном была (и во многом остается пока) лингвистической, то философия второй половины века становится (и еще долго будет) по существу филологической. Разница не только в интенции и в объекте философствования, но и в само-осознании философом своей работы. Для «лингвистического философа» (и он об этом знает) язык определен и конечен; в каждой данной ситуации исследования он реально познан (или познаваем), описан (или описуем) и внутренне (в пределах его структуры и системы его описания) детерминирован. Для «филологического философа» (хотя сам он об этом часто не знает) текст всегда неопределен, описуем только частично, внутренне недетерминирован и бесконечно — даже на данный момент — истолковываем и переистолковываем. Напомню, что, с точки зрения лингвиста, текст — это язык, а с точки зрения филолога, язык — это текст. (В этом смысле этимология, строго говоря, уже почти не лингвистика, ибо сама порождает «текст интерпретации».) Витгенштейн и Айер — при всём их несходстве — философы «лингвистические», а Деррида и Лакан — «филологические».

Но гораздо интереснее различие их само-осознания. Филологическая интенция неизбежно ведет философа к историческому самоопределению. В этой связи кажутся забавными термины «постструктурализм» и «постмодернизм», где префикс «пост-» отсылает в первом случае к лингвистике середины века, а во втором — к искусству начала века. («Филологическим» современный философ становится, потому что не может найти предмет философствования и не понимает, чудак, что у философии нет своего предмета. Отсюда же обращение еще больших чудаков от философии к современному искусству — с легкой руки Хайдеггера, может быть.)

«Филологический философ» обычно ставит себя в конце истории или немного после. «Лингвистический философ» обычно выносит себя как философа за пределы исторического, оставаясь при этом для себя вполне «историческим» человеком (он не может отри-

цать историю, потому что ею не занимается). Но есть и другое важное отличие. Язык не способен сказать философу больше, чем в нем самом (то есть в его описании) содержится. Тексту же ничего и говорить не надо: за него будет говорить «филологический философ», равно как и за картину, скульптуру или что угодно другое.

2. Возвращаюсь к филологии. Здоровую и банальную филологическую предпосылку: «текст — это всё» — «филологический философ» абсолютизирует: «всё — это текст». Тем самым он фактически деисторизирует текст, одновременно историзируя себя, даже (и особенно) когда ставит себя «после истории». При этом он не может или не хочет отразить тот факт, что он уже (всегда «уже») включил себя в текст как в «историческое». «Интертекстуальность» и «внутренняя реконструкция» имеют смысл только как серии исторических фиксаций, из которых последней на настоящий момент будет занятие данного филолога данным текстом. Филология, по сути, не нуждается в появлении новых текстов: она может себя до бесконечности «прибавлять» к уже имеющимся, будучи дисциплиной, по преимуществу ориентированной на исторический объект — текст. «Филологический философ», напротив, остро нуждается в новых текстах, ибо из-за рефлексивной недоразвитости (а иначе бы он был «просто» филологом) видит самого себя таким текстом, причем, как правило, — последним. Если он не вовсе невменяем (что тоже иногда случается), «филологический философ» понимает, что он не в состоянии заменить собою как текстом все прочие тексты человечества, и тогда он создает текст негативной содержательности: универсализация как универсальное отрицание — Платон, заставляющий Сократа записывать мысли Платона.

Здесь мы переходим к интереснейшему обстоятельству, этнографически локальному, то есть ограниченному рамками европейско-средиземноморско-ближневосточной культуры: тексты этого региона имеют тенденцию не только к индивидуализации, но и к персонализации. Текст всегда (в тенденции!) чей-то, как в смысле формальной авторской принадлежности, так и в том, более существенном, отношении, что филологически автор есть часть текста (а не только нашего знания о тексте): он — необходимое измерение объективной текстовости, неотъемлемая сторона вещи, именуемой «этот текст».

Эта персонализация текста имела два важнейших исторических последствия. С одной стороны, тексты оказались — сначала спонтанно, а затем осознанно — разделенными на две категории: «авторские» и

«неавторские». С другой стороны, каждый отдельный текст превратился в объект внутренней классификации, в результате которой «чисто авторское», «индивидуальное» стало отделяться от «общего», «спонтанного», «неосознанно реализованного» и т. д. Понятия «фольклора» и «мифа» соответствуют этим двум последствиям как их внежанровые корреляты, которые, разумеется, не могли возникнуть без предварительных текстовых рефлексий. Хотя исторически влияние философии на филологию вторично — первые философы нашего этнокультурного региона разговаривали, а не писали, — феноменологически философия сформулировала метод (и идею) отсылки к текстам как к не-философскому, подготовив этим почву для «чисто» филологического подхода.

Но «чистая» филология, еще верившая, что имеет дело лишь с текстами, да и то далеко не со всеми, не заметила, как начала, во-первых, превращать все тексты в «свои», а во-вторых, создавать такие тексты, которые интенционально являлись сразу и результатами, и объектами филологической деятельности. Вследствие этой «универсалистской» тенденции филологический текст постепенно стал «дублировать» текст изучаемый. Литературоведческое исследование романа реконструирует мышление и знание автора и его персонажей, оно вторично воссоздает их из текста, становясь своего рода «романом романа». Я привожу для примера именно роман, поскольку это — наиболее емкий и универсальный из всех жанров литературы, так сказать, ее единственный «мета-жанр». И Фрезер, и Пропп в своих описаниях фольклорных сюжетов явно тяготели к роману. Так или иначе на роман ориентирована любая поэтика сюжетов: он оказался моделью описания всякого сюжета, включая и свой собственный.

3. Филология как универсальная наука о тексте противостоит роману как «универсальному тексту» и — одновременно — философии как мышлению об универсальном объекте (таким универсальным объектом является само мышление, которое может быть направлено на любой объект). Разумеется (и это крайне важно), что здесь всякая универсальность вторична по отношению к мышлению. Если принять это во внимание, то роман предстанет перед нами как «универсальный текст», филология — как «универсальный текст о тексте», а философия — как «универсальный текст о мышлении». Последнее чрезвычайно важно, ибо философия есть текст только по условию фиксации (или по «материалу выражения»); ее объект (в отличие от объекта филологии и «филологической философии») — это всегда не-

текст. Философия мыслит о мышлении как о не-тексте; даже если последнее текстуально, ее объект — не-текстовое в тексте. В отношении текста мышление непременно будет определенным, конечным и дискретным в своих «актах» (единицах сегментации, уровнях и т. д.).

Как объект философии мышление будет текстовым опять же только по условию своей объектности. Текстовость вообще не является необходимым условием мышления в процессе философской рефлексии. Так, например, некоторые древнеиндийские философские учения (в особенности ранний буддизм) не были текстами (в действительном, а не произвольно расширительном смысле слова) или были таковыми лишь до некоторой степени. Очень часто различные феномены мышления в этих учениях всего-навсего «обозначались», а смысл этих «обозначений» по-разному и неполно раскрывался в синхронном или диахронном комментарии.

4. У филологии свой предмет — это конкретные тексты. У «филологической философии» свой предмет — это мир как текст (или что угодно как текст). У философии своего предмета нет, поскольку ее объект — мышление — может своим объектом иметь всё что угодно.